

«И УТАИЛ ОТ ДЕТЕЙ...»: ПРИЧИНЫ НЕПРОНИЦАТЕЛЬНОСТИ КНЯЗЯ ЛЬВА МЫШКИНА

Один из героев романа говорит, умиляясь князю: «Утаил от премудрых и разумных и открыл младенцам» (8; 494). И действительно, мы привыкли признавать за князем редкостную пронизательность, способность видеть самую суть явления, мимо кажимости, удивительную способность понимания и сопереживания самым заблудшим — а потому, казалось бы, самым далеким от князя душам. И однако нам представлен еще один факт (может быть и не один, но этот — самый заметный): по вине Льва Николаевича чудовищно, непереносимо страдают две женщины, которых он, как он уверяет, любит больше самого себя. Из столкновения столь противоречивых очевидностей рождается ряд вопросов: 1) действительно ли страдание этих женщин было неизбежно, действительно ли не в силах человеческих было предотвратить его в сложившихся обстоятельствах? 2) Если страдание не было неизбежно, то как его можно было предотвратить? 3) Чего не знал князь Мышкин, что роковым образом повлияло на его способность предотвратить или прекратить страдание? 4) Случайность ли это или закономерность? 5) Каким образом это незнание связано с его болезнью? 6) Чего не хватало князю, чтобы не причинять боли окружающим его людям? 7) Почему неизбежен был возврат князя в его болезнь?

Мы привыкли считать, что причина конфликтов, возникающих в романе между главным героем и остальными действующими лицами — совершенство его и их несовершенство. Я вовсе не оспариваю этого утверждения, я даже предвижу, что после ответов на поставленные мною вопросы оно блистательно подтвердится. Но, отвечая на старый, многократно осмеянный вопрос советского школьного «литературоведения», скажу, что я скорее согласилась бы иметь своим соседом Родиона Раскольников, нежели Льва Мышкина.

Прежде всего посмотрим, с чем связано недовольство и даже злоба, которую неизбежно со временем возбуждает к себе князь со стороны всех, вступивших с ним в более или менее близкие отношения. И это при том, что практически все (за немногими исключениями) первоначально испытывают к нему самую горячую

симпатию, быстро переходящую в любовь и признательность. Надо заметить, что многие из героев укоряют себя за эти злобу и недовольство — и совершенно правы в оценке своих чувств — но не испытывать их по отношению к Льву Мышкину они не могут.

Более того, он часто является причиной вражды и злобы, возникающих между персонажами. Если мы вспомним фырканыя Аглаи на Колю: «Смешно доверяться такому мальчишке», обиду Лебедева на князя, «лишившего его своей доверенности», недомыслие Рогожина, когда Лев Николаевич на протяжении первого дня своего в Петербурге несколько раз становится ему поперек дороги, страдание и ужас Настасьи Филипповны, догадавшейся «еще тогда», что он любит Аглаю, злость и возмущение генеральши Епанчиной после объяснения князя с «сыном Павлищева» и т. д. и т. д., то мы поймем, что дело здесь в, по-видимому, очень простом чувстве: все названные и множество неназванных персонажей просто ревнуют князя.

Есть и такие, которые ревнуют к князю (Ипполит — Колю и Аглаю, Ганечка — Аглаю, Рогожин — Настасью Филипповну и т. д.). Но, во всяком случае, вокруг князя постоянно вскипают девятые валы ревности. Вероятно, они в конце концов и захлестывают князя и самых близких к нему людей. В чем же причина этого разгула ревности в романе вокруг «самого светлого» персонажа Достоевского? В вещи столь же очевидной, сколь и невозможной на первый взгляд — в **христианской любви** князя.

Дело в том, что каждый, одаривая князя своей **исключительной** привязанностью, ожидает и надеется на такую же **исключительную** привязанность с его стороны. И именно этой-то **исключительности** он и не получает. Чем дальше на периферии от центра личности князя расположен тот или иной персонаж, тем светлее и любовнее его отношение к князю, ибо оно мало предполагает и практически не требует исключительности. Но чем ближе к князю подходит герой, тем требование исключительности становится настойчивее и катастрофичнее. Самые близкие Льву Николаевичу люди поражены насмерть — зарезана «дама служения» Настасья Филипповна, сгниет на каторге крестовый брат Рогожин, безнадежно и чудовищно исковеркана жизнь возлюбленной Аглаи.

Князь любит людей «как самого себя», и поэтому не способен иметь своих преимущественных перед другими интересов и их отстаивать. Но он, следственно, не способен и отстаивать **чьих-нибудь** интересов преимущественно перед интересами всех остальных. Князь способен действовать и думать только **по правде**, а это каждым из участвующих в действии воспринимается как посягательство на его личные интересы, как **не-любовь** князя. Связан-

ное с этим чувство вины возникает в героях потому, что они с точностью **знают**, что князь их любит, но знают они также и то, что князь их любит **не так**, как им хотелось бы, и как они любят сами.

Аглая при свидании в парке говорит князю великие и неожиданные слова: «А с Вашей стороны я нахожу, что все это очень дурно, потому что очень грубо так смотреть и судить душу человека, как Вы судите Ипполита. У Вас нежности нет; одна правда, стало быть, — несправедливо» (8, 354). Мысль высказана чрезвычайно глубокая, и я не берусь ее исчерпать в своем толковании, но вот что, несомненно, также имеется в виду: князь понимает каждую предстоящую ему душу как свою, читает в ней, как в открытой книге, понимает каждое движение ее. Но такое понимание представляется на земле возможным лишь от любящего, который, по словам Мити Карамазова, «всю ее душу в свою принял и сам через нее человеком стал».

Такое понимание без исключительности любви оскорбляет.

Можно возразить — такое понимание души каждого человека старцами, например, и их любовь к каждому человеку не оскорбляют. Но все дело именно в том, что старцы не живут **в миру** и, следовательно, отказались от возможности исключительной любви. У них не может быть ни друзей, ни родственников, ни, тем более, возлюбленных в нашем, мирском смысле. Это, собственно, и выражается словами «умерли для мира», это и дает им право на **иную** любовь.

Князь от мира не отказывается, а, напротив, приходит в мир.

Принято считать, что конфликт князя и мира доказывает несовершенство мира. Против этого нечего возразить, мир несовершен. Но здесь возникает другой вопрос — исправимо ли это несовершенство в рамках известных нам форм мира, или исправленный мир должен стать совершенно иным. Ответ, который дает на этот вопрос христианство, не предполагает разночтений: исправленный мир — мир преображенный, т. е. **совершенно иной**, чем тот, который нам известен. Таким образом, князь, стремящийся исправить мир изнутри — Дон Кихот, разгоняющий стада баранов и овец, разрубающий мехи с вином, и вообще, приносящий много ущерба в хозяйстве, а вдобавок побиваемый ветряными мельницами. Три четверти исследователей творчества Достоевского тут же скажут мне, что, во-первых, параллель с Дон Кихотом очевидна из аллюзий романного текста (не говоря уже о черновиках), а, во-вторых, что это очень почетное сравнение. Против второго хочу возразить, приведя хорошо известную всем цитату из «Дневника писателя», в которой почему-то регулярно забывают конец, а он меняет значение сказанного на противоположное: «Эту самую грустную

из книг не забудет взять с собою человек на последний суд Божий. Он укажет на сообщенную в ней глубочайшую и роковую тайну человека и человечества. Укажет на то, что величайшая красота человека, величайшая чистота его, целомудрие, простодушие, не-зловобивость, мужество и, наконец, величайший ум — все это нередко (увы, так часто даже) обращается ни во что, проходит без пользы человечеству и даже обращается в посмеяние человечеством единственно потому, что всем этим благороднейшим и богатейшим дарам, которыми даже часто бывает награжден человек, недоставало одного только последнего дара — именно: гения, чтоб упредить и направить все это могущество на правдивый, а не фантастический и сумасшедший путь деятельности, во благо человечества!» («Дневник писателя», 1877 год, гл. II «Ложь ложью спасается» — 26; 26).

Здесь возможно и еще одно возражение: «Ну хорошо, допустим, что с Дон Кихотом все обстоит именно так, но ведь известно, что еще одно обозначение Мышкина в черновиках — князь Христос, а это уж определено «положительно прекрасный человек», идеал Достоевского. Оставляя в стороне сложный и требующий еще своего рассмотрения вопрос о способности человека **в принципе** воплотить идеал Христов (не как идеал, завещанный Христом, а тот идеал, который он явил) и еще более сложный в системе романа вопрос о том, кем будет человек, явившийся на земле **как** Христос, скажем, что действительно, подобные аллюзии остались и в тексте романа: «Я теперь к людям иду», «Действительно, я имел мысль поучать», речь Мышкина на тему «будьте как дети» и т. д. И все-таки с самого начала образ Мышкина **противопоставлен** образу Христа по одному, но перевешивающему все остальные, признаку. То, с чего, собственно, начинается князь Мышкин свою деятельность в качестве спасителя мира — это намерение и стремление **жениться** на Настасье Филипповне. Этим своим намерением он сразу же исключает себя из мира Божеской любви и ввергает в мир любви человеческой, т. е. любви исключительной. Именно из попытки князя сочетать эти два несочетаемых вида любви и рождается весь тот кошмар, который делает роман Достоевского о «положительно прекрасном человеке» наиболее мрачным и тяжелым из всех его романов.

Теперь предвижу вечный вопрос, обращенный к исследователю, особенно исследователю Достоевского: «А знал ли обо всем этом Достоевский, имел ли это в виду, когда писал роман, или все это чистый ваш домысел?»

Достоевский обо всем этом не только знал, но и продумал до последних выводов в ситуации глубокой личной заинтересованно-

сти. Я имею в виду знаменитый отрывок из «Записной книжки 1863—1864 годов» «Маша лежит на столе...» (20; 172—173).

«...Высочайшее употребление — пишет Достоевский — которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего я, — это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастье <...> Но если это цель окончательная человечества (достигнув которой ему не надо будет развиваться, то есть достигать, бороться, прозревать при всех надеждах своих идеал и вечно стремиться к нему, — стало быть, не надо будет жить) — то, следовательно, человек, достигая, оканчивает свое земное существование. Итак, человек есть на земле существо только развивающееся, следовательно, не оконченное, а переходное.

Но достигать такой великой цели, по моему рассуждению, совершенно бессмысленно, если при достижении цели все угасает и исчезает, то есть если не будет жизни у человека и по достижении цели. Следовательно, есть будущая, райская жизнь <...> Мы знаем только одну черту будущей природы будущего существа, которое вряд ли будет и называться человеком <...> Эта черта предсказана и предугадана Христом, — великим и конечным идеалом развития всего человечества, — представшим нам, по закону нашей истории, во плоти;

эта черта:

«Не женятся и не посягают, а живут, как Ангелы Божии». — Черта глубоко знаменательная.

1) Не женятся и не посягают, — ибо не для чего; развиваться, достигать цели, посредством смены поколений уже не надо и

2) Женитьба и посягновение на женщину есть как бы величайшее оттолкновение от гуманизма (т. е., по Достоевскому — от возможности отдать свое я всем и каждому. — Т. К.), совершенное обособление пары от *всех* (мало остается для *всех*). Семейство, то есть закон природы, но все-таки ненормальное, эгоистическое в полном смысле состояние от человека. Семейство — это величайшая святыня человека на земле, ибо посредством этого закона природы человек достигает развития (то есть сменой поколений) цели. Но в то же время человек по закону же природы, во имя окончательного идеала своей цели, должен непрерывно отрицать его. (Двойственность)».

Когда князь в конце романа, уговаривая Евгения Павловича отвести его к Аглае, бормочет: «— Она поймет, она поймет! — она поймет, что все это не *то*, а совершенно, совершенно другое!», — то тот ему совершенно резонно возражает: «— Как все равно и ничего? Не пустяки же ведь и это? Вы женитесь на любимой женщине, чтобы составить ее счастье, а Аглая Ивановна это

видит и знает, так как же все равно?» И далее: «Как же? Стало быть обеих хотите любить? — О, да, да! — Помилуйте, князь, что вы говорите, опомнитесь!» Но князь возражает: «Аглая Ивановна поймет! О, я всегда верил, что она поймет. — Нет, князь, не поймет! Аглая Ивановна любила как женщина, как человек, а не как ... отвлеченный дух. Знаете ли что, бедный мой князь: вернее всего, что вы ни ту, ни другую никогда не любили!» (8; 483—484).

Аглая Ивановна, может, и поняла бы эту способность князя любить двоих сразу (больше — всех!), т. е. способность **иной** любви (ибо, может быть, Евгений Павлович отчасти (хотя — только отчасти) и прав, говоря, что князь ни ту, ни другую никогда не любил — т. е. не любил их любовью **исключительной**), но она была бы способна понять это лишь в одном случае: если бы князь «не женился и не посягал». Но поскольку он делал и то и другое, она ожидала от него соблюдения главного закона земной, семейственной любви, т. е. закона **исключительности**. Удар был для нее столь сокрушителен именно потому, что она и увидела эту исключительность, это предпочтение, но только князь на ее глазах выбрал другую. И такой вывод, совершенно не согласный с логикой внутреннего состояния князя, абсолютно адекватен логике его поведения.

«О да, я виноват! — восклицает князь, — вероятнее всего, что я во всем виноват! Я еще не знаю, в чем именно, но я виноват...» (8; 484). Представляется, что он виноват именно в этом.

Правда, это не единственная его вина. Он виноват еще и в том, что, вглядываясь в сущность, не придает значения явлению, веря в свет, не придает значения мраку, и это тем более странно для каллиграфа, знающего, что от формы зависит столь многое: «но черная линия капельку потолще, чем в английском, ан — пропорция света и нарушена» — объясняет он генералу (8; 30). Но, впрочем, это тема отдельного разговора.

Остается добавить лишь: все чаще и чаще приходит в голову, что «великая неудача» (как говорили о романе) Достоевского была неудачей его читателей.